

ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ КРИЗИСНОГО ПРИЧИНЕНИЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Артур Цуциев

К АРХЕОЛОГИИ РИСКОВ, ИЛИ СИНДРОМ «ВЫНУЖДЕННЫХ» ПОБЕД

Отношения между Россией и (ее) кавказской периферией нельзя свести к отношениям динамичной исторической силы и пассивной массы, инициативного центра и инертной периферии. Российская интеграция Кавказа не может быть исчерпана субъект-объектными отношениями, где Россия выступает активным геополитическим, формирующим игроком, а кавказские общества/политические образования — театром его игры. Напротив, внутренняя динамика местного политического и социального ландшафта способна придавать российскому вовлечению некоторую объектность и функциональную заданность.

В пространной иллюстрации мы обратимся к «ситуации старта» и некоторым структурным исходникам-предпосылкам установления российской государственности на Кавказе. Институциональный профиль имперского государственного продвижения в регионе не может быть адекватно прослежен без понимания того, в какие именно функциональные ниши втягивалась Россия на кавказском политическом ландшафте в XVIII–XIX веках. Каким образом вовлечение поднимающейся или кризисной российской государственности использовалось и используется в собственных кавказских социальных и политических стратегиях? Какие внутренние кавказские противоречия и устремления создавались, проговаривались, преодолевались в категориях российского властного присутствия? Решительный успех российской экспансии был бы невозможен без таких ниш — отчасти готовых, отчасти успешно или драматически созданных в ходе самого российского геополитического наступления.

Кавказ стал русским приграничьем после инкорпорации Астраханского ханства (1556), когда Москва унаследовала от Астрахани ее южную притеречно-каспийскую периферию и каспийско-персид-

ские морские коммуникации. Овладение Кавказом, тем более — Северным Кавказом, никогда не было самостоятельной целью или «самоценным призом» в русской имперской геополитической игре. Регион выступал то «левым флангом» (как Кабарда — в противостоянии Москвы и Бахчисарая в XVI–XVII в.), то «правым флангом» в Петровском персидском проекте (1722), то «нейтральным барьером» (в противостоянии России и Османской империи, 1739–1772/4), «порогом — преддверием» (в греческом проекте Екатерины II), наконец — «крепостью-барьером», отделяющим Россию от ее закавказских провинций (1801–1864). Сегодня регион идеологически определен как внутренняя приграничная периферия-барьер на пути распространения «международного терроризма» и извне провоцируемой нестабильности. Другое определение — поле испытания новейшего российского нациестроительства на состоятельность. В экономическом отношении Северный Кавказ был, есть и, видимо, останется статьей расходов, а не доходов российского государственного строительства и внешнеполитического позиционирования.

Николай I писал своим кавказским чиновникам: «[помните] — не побед ищу, но спокойствия». Но «победы» и война оказывались «способом достижения спокойствия», а итоговое овладение кавказской крепостью оказалось во многом вынужденным шагом. Этот синдром вынужденных побед пронизывает всю историю инкорпорации Кавказа в Россию вплоть до путинского военного разгрома Ичкерийской республики. Вынужденность побед над северокавказским сепаратистским движением в новейшее время помогает отчасти понять и вынужденность, обусловленность сдвигов в русской политике на Кавказе в XVIII–XIX веке — как перехода от стратегии «заинтересованного вовлечения и избирательного протезирования» к стратегии «сдерживания и репрессалий» и далее — к инкорпорации, колонизации и интеграции региона.

Мы исходим из тезиса, что государственные институты на Северном Кавказе (а в значительной степени и на Кавказе в целом) являются продуктами противоречивого укоренения в локальных властных режимах имперских военно-административных практик — от хазарских, арабских и иранских в Дагестане до иранских в Картли-Кახетии, от советских — в горских социалистических автономиях и до новороссийской — в современной Чечне. Под государством в данном случае понимается три связанных процесса: (а) возникновение групп/процедур регулярной и эксклюзивной аккумуляции платы за протекцию («добровольных приношений») или дани («никому другому подати не платите»), из которой вырастают отношения систематической и обязывающей протекции-подданства и соответствующие направления лояльности; (б) формирование института рекрутации/принудительного наймничества. Становление этих двух «силовых» институтов вызывает к жизни и соответствующие инструменты своей нормативно-правовой регуляции и духовной легитимации.

Различные формы имперского укоренения, будь то протекция или оккупация, военно-народное управление или советская автономия, могут быть рассмотрены как результаты текущего военно-политического и административно-управленческого приспособления к сложному социальному и политическому ландшафту региона и одновременно как инструменты упорядочения и перекройки этого ландшафта внутри государства. К чему же должна была адаптироваться империя? Грубо говоря, к необходимости отчуждения или, при отсутствии, формирования всех условных треков этатогенеза — принудительной протекции (в различных ее формах), рекрутации (права собирать войско и вести войну) и «вынутого из самого общества» суда.

Отметим, что государство, как вычлененный из общества институт принуждения, было излишним в горском общинном, ландшафтно-сегментированном пространстве образца XVIII века. Здесь преобладал другой устойчивый тип самоорганизации и политико-правовой регуляции — потестарный, в котором функции обеспечения внешней безопасности и соблюдения обычаев, отправления власти, суда, исполнения наказаний, разрешения конфликтов оставались в решающей мере еще слитыми с обществом. Система норм обычного права, а также существующие институты регуляции межсословных и межобщинных отношений — аталычество, куначество, аманатство¹, институты представительных собраний (Хасэ, Мехк-Кхел, Ныхас, Тёре) — создавали сети персонифицированных взаимных обязательств и фамильно/сословно-сопряженных нормативных ожиданий. Через них могли осуществляться функции надобщинной интеграции, межсословной нормативно-правовой регуляции, вырабатывались меры безопасности, разрешались конфликты или конструировались схемы консолидированного действия. Адат оставлял право легитимного насилия в прерогативах самого общества. И до тех пор, пока община пребывала внутри системы отношений, эффективно регулируемых адатом — государство, как легитимное отчуждение права общинников на насилие, оставалось и остается внешним, чужим проектом. Чем богаче и изощренней, полнее и детальнее были адаты в кавказских ландшафтно-сегментированных обществах, тем оставалось меньше внутренней функциональной потребности для развертывания специализированной и внешней самому обществу структуры насилия. Именно в специфическом кризисе общины и адатной нормативной регуляции определяется и «ниша» для государства и государственного отчуждения самого права на легитим-

1. Аманатство — это своеобразный институт межобщинных гарантий, который не тождественен заложничеству, как следовало бы из буквального перевода понятия «аманат». Аманат являлся не столько заложником, ожидающим выкупа, сколько был персонифицированной гарантией выполнения данных обязательств или достигнутых соглашений. Аманат был даже почетен в качестве таковой гарантии и находился на попечении стороны, ее получающей.

ное насилие (и для последующего сужения адата чуть ли к комплексу норм горского этикета).

В XVIII веке — ко времени российского наступления — на Северном Кавказе сложилась противоречивая ситуация, связанная с формированием нескольких нуклеусов, потенциальных площадок этатогенеза. Кратко обратимся к анализу нескольких типологических сюжетов, отражающих внутрирегиональные различия.

Кабардинская феодальная полития выступает доминантой в центральном Предкавказье в XVII–XVIII вв. Перспективы этой площадки этатогенеза в XVIII веке определяются возможностями централизации власти, поглощением слабых княжеств сильными и эффективным переходом от режима сезонно-экономической, а нередко и эпизодически-номинальной, зависимости горской периферии Кабарды (от абазин и Карачая до ингушей и карабулаков) к режиму устойчивого взимания дани и сословной инкорпорации горских верхов.

Кабардинская аристократическая траектория этатогенеза имеет серьезные ограничения. Феодальная раздробленность Кабарды усиливается сильным поляризирующим геополитическим влиянием Москвы и Бахчисарая/Порты. Получив в послебелградской ситуации (1739) статус «нейтрального барьера», Кабарда встречает и вызовы централизации — консолидированное противодействие в конфликте с Москвой из-за Моздока (1864–1869), усиление давления на горскую периферию, признаки поглощения Малой Кабарды Большой (точнее, Талостанея — Кайтукиными, 1753)². Однако в целом отношения протекции-зависимости горцев от Кабарды просто не успели, да и не могли сложиться в устойчивые сюзеренно-вассальные отношения. Напротив, в XVIII веке возникли факторы, которые сделали эндогенную феодально-государственную траекторию Северного Кавказа по «кабардинскому сценарию» невозможной. К этим факторам можно отнести нарастающий демографический дисбаланс между кабардинской плоскостью, особенно по ее восточной периферии, и горскими обществами; обрушение военных преимуществ княжеской дружины над горским ополчением по мере распространения в регионе доступного огнестрельного оружия. Российская экспансия фактически синхронизирована с нарастающим конфликтом кабардинских княжеств между собой и с горскими обществами. Этот конфликт в некотором смысле купирован уже внутри российского имперского пространства (правда, за счет территориального сворачивания Малой Кабарды к западу от Курпа).

Траектория этатогенеза, связанная с Аваристаном как ядром, опирается на «вытягивание» ханством горских ополчений в практику организованного военного похода/набега. Его цели — скот и рабы, один из основных экспортных товаров тогдашней экономики региона. По-

2. Кабардино-русские отношения в XVI–XVIII вв. Документы и материалы. Т. II. С. 198–199.

ход есть систематическое, хотя и сезонное действие, превращающееся в надобщинный институт, надобщинную систему отношений (в широком спектре — от имущественных до политических, полагая, кстати говоря, нормативную нишу для инфильтрации в адатные нормы элементов права другого уровня). Стоит отметить, что именно формационно-силовое тяготение феодальных политий Дагестана, стремящихся вовлечь вольные общества в систему устойчивых вассальных отношений, становится каналом для формирования режима стратифицированного, разделенного правового поля — разделенного между обычным правом (регуляция ответственности за преступления против личности/фамилии, т. е. уголовные преступления) и шариатом (регуляция брачно-семейных отношений и, отчасти, имущественных отношений).

Военные походы дагестанских обществ на Грузию — как форма организованного грабежа (читай — упорядоченной и систематической подготовки к нему) — становятся одновременно и формой этатогенеза. Однако эта траектория оказывается функционально вынесена за границы самого горского пояса. Грубо говоря, такой поход мог бы обратиться в государство, только включая территорию похода — Грузию ли, ее отдельные части или же, скажем, сектора казачьей линии на севере. При этом сама структура государства обретает специфическое двухядерное измерение — централизованная и иерархизированная полития на равнине, как результат завоевания, и сегментированная общинная полития в горах. Государство на равнине обладает как бы «заякоренными» вне общин институтами консолидации и формирования соответствующих новых систем нормативно-правовой регуляции. Очевидно, что присоединив Грузию (1801), империя вынуждена решать и проблему дагестанского горского давления на нее. Кроме того, нанося удары по нелояльным³ феодальным политиям Дагестана (1818–1820), российские власти фактически усиливают вес их региональных соперников — горских вольных обществ и расчищают площадку для непосредственного, прямого с ними столкновения.

Имамат, возникший позже на основе аварского ханского нуклеуса, был его продолжением и преодолением. Продолжение — в том смысле, что главным способом «вытягивания общин» на траекторию горского этатогенеза, оставался поход/противостояние России, ставшее функциональной и идеологической базой этого государства. Преодолением — в том смысле, что в имамате была сброшена прежняя феодально-сословная структура аварского ханского нуклеуса и определена подчиненная ниша адатного права. Вольные общества, казалось бы, стали основой имамата (как антисословная и антиимперская доктрина шариатского движения — его идеологией). Но в последующем именно генерирование в имамате сословной (в данном случае —

3. Дагестан присоединен к Российской империи (в международно-правовом отношении) по Гюлистанскому договору с Ираном (1813).

военно-управленческой) структуры, без которой невозможно функционирование государства, создало напряжения и в самой несущей конструкции имамата, какой была горская община. Угроза новой словной гегемонии плюс экономические издержки военного противостояния с Россией заставила горские общины (и, прежде всего, чеченские тейпы) усомниться в резонансе дальнейшей активной поддержки Шамиля.

Чеченская траектория также связана с горско-равнинным взаимодействием, но разворачивается она — как эффект иного баланса силы — не по сценарию усиления феодального давления на горы, а, напротив, связана с горской вайнахской колонизацией равнины. К XVIII веку сложился демографический и силовой дисбаланс между соседствующими горскими вайнахскими обществами и крестьянским населением периферийных кабардинских и кумыкских феодальных вотчин. Этот дисбаланс открыл возможности для горцев к переходу от «арендного» (разрешительного, адатно-обрамленного) права землепользования/выпаса скота к отложению от феодала-землеладельца и к превращению территории хозяйствования в территорию расселения. Миграционный сдвиг вайнахских тейпов на равнину, сопровождаемый сначала княжеской протекцией, а затем вылившейся в острый конфликт между самими «протекторами» и этими общинами (читай — их сильными фамилиями), приводит к следующему: происходит итоговое усиление общины — в качестве инструмента противодействия феодальным рейдам и претензиям — и ее трансформация из родовой в территориальную.

В межлесных «проталинах» чеченской плоскости определялись не только новые ландшафтные ниши для хозяйствования и расселения общин. Сама структура перехода и расселения на новых территориях с неизбежностью сопровождается и надстраивает тейповую ячейку-основание — характеристиками «территориальной», соседской общины. Однако в этих военно-колониальных общинах-соседствах фамильно-родовые отношения были не отброшены, но стали функциональными основаниями, ядрами расширенных сетей соседских, надтейповых отношений.

Динамика межсловных и межобщинных отношений отразилась в кризисе нормативно-правовых систем регуляции. Прежде всего, нарастание дефицита покосных и пахотных земель в горной полосе способствовало эскалации применения права сильного — в ущерб адатному праву. Грубо говоря, адат эффективен в условиях баланса силы, но уязвим в быстро меняющихся «силовых контекстах», в ситуациях, когда усилившиеся фамилии ищут повод для избирательной трактовки адатных норм или вовсе для их игнорирования. Вероятно, кризис общины и адата обозначился тогда, когда в вольных обществах укрепились тейпы, фамильные группы, способные бросить вызов — и эгалитарным нормам своей собственной общины, и словным претензиям феодала — своего ли горского или чужого «плоскостного».

Наращение массива межобщинных контактов также привело к становлению новых деперсонифицированных контекстов, плохо регулируемых адатным правом. Вырастание горских общин из своих ландшафтных ниш сделало адатное право ограниченным, заложило новые возможности для надстраивания шариатского права над адатом и для становления институтов власти, осуществляющих это проникновение — устойчивое и систематическое надстраивание «советов страны» над тейповыми/джамаатными представительными советами.

Обосновавшийся на плоскости агломерат территориальных общин, ячеисто-сетевая структура становящейся общечеченской политики в своем противодействии феодальным владельцам вступила в острый конфликт с их имперским патроном. Выражаясь современным языком, колонизация в XVIII веке чеченцами плоскости фактически привела к уничтожению небольших кабардинских и кумыкских княжеств — российских протекторатов, основным населением которых стали чеченцы. Но для такой революции чеченцам не потребовалось какой-то централизованной власти, так как обрушение княжеств произошло изнутри: тейповая верхушка общин просто сбросила феодальные дома как ослабевших конкурентов своей власти над общиной и территорией ее хозяйствования. Главное здесь — успех общинной экспансии оказался почти тождествен ее кризису. Именно в победе фамильной верхушки горских общин над равнинными, или «своими», феодалами обнаруживается вероятный исход стратегической дилеммы, стоящей перед старшинами сильных фамилий — какой должна быть траектория их власти — сословно-господской (траектория феодализации) или общинно-представительской.

Ячеисто-сетевая общинная траектория этапогенеза по чеченскому сценарию была успешной в смысле экспансии, но ее выход к формированию централизованных институтов власти (уже в движении Ушурмы, 1785) оказался ограниченным и был в итоге блокирован ударами русской армии. Но если противодействие российских властей движению Ушурмы мотивировано стремлением сохранить «княжеские протектораты», то в начале XIX в. все более явственно определяется новая конфликтная ситуация: становление набеговой практики против русских поселений на Тереке и развертывание военно-казачьих линий как выдвигающихся плацдармов — сначала для коллективных репрессалий против горцев, а затем и для завоевания и колонизации залинейных территорий. На причинах набегов/походов как «культурной матрице» горских обществ мы остановимся подробнее.

«КУЛЬТУРЫ ПОХОДА»

Проблема набегов все еще фигурирует как ответ на политически-спекулятивный вопрос: кто виноват в Кавказской войне 18[17]–1864 годов? — сами горцы (так как русское завоевание Кавказа — есть вынуж-

денный ответ на набеги горцев) или Россия (и тогда набеги — это форма справедливой борьбы против русского завоевания)⁴. Исторические сюжеты о «культуре насилия», абречестве, «набегам» находят очевидные созвучия в постсоветскую кризисную эпоху на Кавказе.

Пока нужно отметить, что набеги, очевидно, были формой и инструментом борьбы против русского государственно-пограничного обустройства в степном Предкавказье. Так, кабардинские княжеские рейды на возводимые крепости пограничной Азово-Моздокской линии в 1764–1770-е годы — очевидная и организованная, я бы сказал, политическая реакция на отчуждение земель, которые использовались кабардинцами под пастбища и которые воспринимались ими как основной источник дохода и ресурс укрепления хозяйственной, а с нею и политической, гегемонии над горскими обществами. Сокращая эти «гипотетические» пастбищные ресурсы Кабарды, Россия тем самым сокращала возможности для кабардинского доминирования над горскими обществами. Почему «гипотетические»? Потому, что само русское возведение крепостей — итог той самой экспансии России, которая собственно и обеспечивала кабардинцам надежное прикрытие против кочевого давления ногайцев и калмыков, в том числе — и обещала, казалось бы, гарантированное пользование этой самой территорией.

С другой стороны, сам институт набега, его возникновение не были реакцией на российскую экспансию и развертывание казачьих линий, как это нередко трактуется. Горский и шире — общинный поход/набег есть самостоятельный и более древний феномен, не связанный с имперской экспансией как своей причиной. Набеги практиковались и против Грузии (о «колонизации гор» не помышлявшей со времен царицы Тамары), и против соседних горских или плоскостных политий. Набеги практиковались и казачьими вольными общинами, но о какой-то «реактивности» здесь вряд ли уместно говорить.

Набег очерчивается как одна из типологических характеристик горских обществ. Этот «атрибут горской цивилизации» сложился вероятно в поздне- и постмонгольский период как адаптированный к горской среде институт кочевого набега степняков (форма сбора дани на контролируемой периферии степных империй). Отчасти он был, вероятно, привнесен в горную полосу феодальными группами/культурами алан и кипчаков, которые массами отходили сюда под ударами монголов в XIII–XIV веках. Позже, в XVI–XVIII вв., этот институт питался социально-политическим и культурным влиянием кабардинцев с их княжеской дружиной. Горский поход — одновременно акцепция и преодоление степного феодально-княжеского похода и способ изоморфного

4. Критика известной «набеговой теории» М. Блиева до сих пор мотивирована, скорее, вненаучными «правилами гражданской политкорректности» или общим антиформационным трендом постсоветского кавказоведения. См. Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007. С. 321–324.

(по военно-организационной структуре) противостояния княжеской дружине феодалов. Такая акцепция была облегчена, вероятно, и более глубоким изоморфизмом — между самим характером политогенеза в горских общинах (военно-аристократическая модель, узурпация функций военной организации общины) и военно-иерархической структурой степняков в их набеговых кондициях.

Но этот институт, превративший горскую общину в гражданское войско, обрел собственные хозяйственные основания в горских обществах. Вырастая из военно-организационного противостояния давлению степи, набег обрел формационную почву в хозяйственных занятиях горцев, основным из которых было отгонное скотоводство. «Партии всадников» вырастали из сопровождения перегонов скота, охранения скота на чужих равнинных зимних пастбищах, формировали свой боевой этос в захватах чужого скота (в некоторых случаях — гораздо более успешной хозяйственной стратегии, нежели мирное пастушество). Эта военно-хозяйственная практика превращала группы «погонщиков» в функциональных носителей военно-сословной культуры и создавала начальный смысл «похода». Погонщик скота и воин-общинник — две ипостаси, вырастающие из одного занятия. Вторым важным фактором становления набеговых практик и их социально-организационных оснований в горских обществах было, по-видимому, наемничество, то есть приглашение феодалом в свой поход групп горской молодежи.

Однако кроме военных и хозяйственных функций, генерировавших институт похода как атрибут горских культур, постепенно сформировалась еще одна — собственно социальная функция. Поход (и «военные братства», «военные союзы молодежи» как организационная форма похода) есть важнейший способ социализации и канал вертикальной социальной мобильности, обретения статуса в контексте расслаивающейся общины. Поход был возможностью преодоления внутриобщинных барьеров, возникающих в связи со все большим доминированием сильных фамилий, тейпов, и являлся формой воспроизводства единства общины. Можно сказать, реальная община сворачивается в общинности как организационной и идеологической практике, удерживающей фактически сословное общество в рамках плотных сетей фамильно-родовой протекции и эксплуатации.

Экономическим основанием такой политической коллизии было внутренне противоречивое, динамичное состояние горской общины: уместно говорить о некоем формационном синкретизме, даже синтезе, который определился в горской общине и который предполагал параллельное развитие частной (частно-фамильной) и общинной формы собственности. Сочленение этих форм собственности не было раз и навсегда данным, было относительно устойчивым, но эта устойчивость всегда находилась под угрозой: демографический рост населения, усиление влияния сильных фамилий приводили к дефициту угодий и конфликту между частной и общинной формами собствен-

ности. В условиях зреющего напряжения институт набега, как и право первозахвата незанятой земли, становится сподручным, функциональным способом трансляции конфликта во вне. Малоземельные фамилии получают легитимный канал статусной мобильности. Сильные фамилии получают институт воспроизводства войска как ресурс давления/торга с феодальными политиями и их претензиями. Наконец, сама община — уже с выраженными фамильными ядрами — получает возможность укреплять фамильно-частное землевладение, не опасаясь разрушительной сегментации или угрозы обрушения самих этих фамильных ядер-оснований.

В набеге функционально и символически преодолевалась траектория внутриобщинной гегемонии отдельных родов/фамилий. Здесь молодежь из беднеющих фамилий общинников могла обрести себя как статусную ровню представителей сильных фамилий и даже, в конце концов, княжескому узденству. В походе коренилась идеология военного равенства как общинного узденства, взламывающего только еще становящиеся феодальные сословные иерархии. Важно также и то, что поход оказывался институтом, скажем так, обусловленной родовой мобильности: не статус фамилии влиял и тянул за собой статус ее представителя, но наоборот — организованные на неродовой основе «братства», составленные из представителей разных фамилий общины, «тянули» за собой статус этих фамилий, были «лицом» их нерутинной, альтернативной и стремительной состоятельности. Поход есть канал такой альтернативной состоятельности, параллельная траектория воспроизводства общины. Престиж, статус фамилии оказывался, таким образом, менее жестко привязан к ее имущественному положению.

Итак, учитывая региональные и формационные различия, обратим внимание на некоторую инварианту горской общины, связанную с ее статусным, военно-организационным измерением, ее позиционированием как войска. Речь идет о такой устойчивой характеристике горской общины как ее способность к воспроизводству своей целостности параллельно процессам социального расслоения и сегментации. Рост населения и нарастание дефицита земельных ресурсов (номинально общинных, но фактически контролируемых сильными фамилиями, все более подминающими саму общину) — казалось бы, неминуемо выводят последнюю на траекторию «горского феодализма» со все более глубокой институционализацией гегемонии сильных фамилий в сословно-правовую, иерархическую «отчужденную» структуру власти. В определенных случаях так и происходит — там, где общины относительно слабы и где развернута устойчивая и давняя традиция привнесенного феодального доминирования. В этих случаях периодически развивается типичный классовый конфликт между феодалами и общинниками с различными сценариями его исхода.

Однако во многих случаях эта траектория стратификации общины воспроизводится в свернутой форме, не позволяющей общине

разваливаться. Сам характер «центрированной территориальной общины», пронизанной фамильно-родовой гегемонией, состоит в том, что слабые фамилии оказываются не просто под патронажем сильных, но их частью. Социальное расслоение не блокируется полностью, но специфически купируется насыщенной системой родственных связей. Община уже расслоена, но расслоение успешно обрамлено и погашено насыщенными сетями клановой протекции и лояльности. Эта специфика «свернутого», «откамуфлированного», «купированного» расслоения лучше всего просматривается на характере имущественных отношений. Формально общинная собственность выступает на деле как правовой камуфляж, как форма частно-фамильной собственности. Сильные фамилии и их верхушки удерживают эффективный контроль над «общинным» сегментом (пастбища, лес) и даже замахиваются на чужие выгонные и пахотные участки. Но главное в том, что сама модель этого контроля, опирающаяся на разветвленные сети фамильно-родовой инкорпорации, делает функционально излишним превращение этой фактически частной собственности в сословный, отчужденный от общины надел, к которому общине предстояло бы затем «прикрепляться».

Одновременно со способностью поглощать риски социальной сегментации, в горских общинах воспроизводится ключевой элемент, который не просто усиливает военные кондиции горских обществ, но создает «политико-экономическое основание» для становления военной культуры как атрибута горской цивилизации. Это военная культура узденства и связанный с ней алгоритм обретения смысла состоятельности-успеха. Имущественный статус фамилий и ограниченный горизонт имущественной состоятельности оказывается доступен преодолению военным походом, славой воина.

Массификация набеговых практик в XVIII веке отражает несколько одновременных процессов. Относительная стабилизация в XVII веке отношений между плоскостными феодалами (кабардинскими, кумыкскими), с одной стороны, и горскими политиями (как феодализованными, так и нет) привела к тому, что горцы более активно могли пользоваться равнинными землями для воспроизводства своего отгонно-скотоводческого хозяйства. Хозяйственный подъем и увеличение количества скота приводит одновременно к росту населения в горских ландшафтных нишах⁵ и к имущественному расслоению в размещенных здесь общинных политиях. Начался быстрый рост дефицита земли, возникает практика огораживаний и превращения общинных выгонов в фамильные. Все это приводит к значительному увеличению «социальной базы» набеговых практик — слоя безземельных и малоимущих общинников.

5. В этой связи мне представляются неверными тезисы о том, что ко времени выхода на равнину горские общества находились на грани вымирания.

В XVIII веке горские политики начинают практику «отложенных» от феодалов. Здесь сильные горские фамилии активно используют горскую молодежь для предварительного и, скажем так, военно-барражирующего давления на «чужое» население княжеских вотчин. Цель — вытеснение феодалов с равнинных территорий, увеличение земельных ресурсов для ослабления внутриобщинных противоречий и добыча скота — как прямое вознаграждение за участие в набегах.

В принципе, в смещении фокуса кавказской войны — от кабардинского («аристократического») на чеченский и черкесский («демократические»), видна преемственность и различие двух типов набеговой практики — княжеских дружин и вольных общинников. Разгром русским оружием части кабардинских княжеских домов и сословная инкорпорация в русское дворянство другой части — привела к тому, что княжеские дружинные осколки фактически стали частью или периферией общинной (черкесской — на западе и вайнахской — на востоке) набеговой практики. Это поглощение — не без проблем и сословного высокомерия — тем не менее оказалось возможным именно потому, что горец-общинник функционально был уже узденем. В то время как кабардинский крестьянин-вотчинник даже оружия не носил, горский крестьянский сын был частью «набеговых партий», «мужских союзов», иначе говоря, был вооруженным всадником/джигитом. Горская община фактически становится синонимом «войска».

В горской эгалитарной акцепции кабардинского рыцарского этоса произошли, конечно, важные сдвиги (скажем, в тактике ведения боя, в определении целей набегов), но существо было сохранено — это культура военного похода, осуществляемого за статусом и как его подтверждение-удостоверение. Здесь важно обратить внимание и на различия в организационных условиях похода. С одной стороны, это масштабные военные экспедиции, требующие развитых организационных навыков и устойчивой системы привлечения и координации нескольких самоуправляющихся обществ (такая государственная основа для походов формировалась на площадке Аваристана — в ханский ли период, или во времена имамата). С другой стороны, возникает спорадическое и всесезонное набеговое барражирование по русской пограничной линии или алазанским селам отдельных набеговых партий, представляющих форму активности отдельных горских обществ.

Разворачивание русской терской границы цепью городков, крепостей и станиц, идущей от Кизляра к Моздоку, Екатеринограду и дальше к Азову, способствовало следующей «структурной инновации». К началу XVIII века на северо-востоке региона сформировалась, скажем так, политико-экономическая система отношений, включающая как свой подчиненный элемент нелинейный массив спорадических взаимных набегов. Преобладающий вектор военно-хозяйственного давления отражал сдвиги в демографическом и силовом балансе. Однако набег были рутинной, имели привычный социальный и хозяйственный смысл,

хотя и выростали на разных формационных основаниях (общинных, кочевых, княжеских, даже имперских, если учесть «визиты» крымско-османских отрядов).

Становление русского фронта создает новый «линейный эффект». Общая набеговая практика (условно «все против всех») окончательно превращается в линейную, двухполярную: горские общества против приграничных княжеств-протекторатов и встроженных в границу казачьих общин. Стоит учесть, что именно на среднем Тереке возникает первый участок непосредственного соприкосновения русской границы и расселившихся на плоскости горских обществ. Новый линейный характер взаимных набеговых практик — это поначалу спорадические и хозяйственно-привычные «микропоходы» горцев и военно-казачьи репрессалии. Но первые начинают постепенно воспроизводиться в расширенной форме по мере наращивания хозяйственных возможностей русских поселений на линии. Что же касается казачьих репрессалий как военно-организованных практик набегового возмездия и нередко превентивного силового барражирования, то здесь также обозначается качественный сдвиг. Хозяйственные и социальные функции рейдов уходят в тень политических функций. Вольные казачьи общины превращаются в служилое (государственное) войско. Оно отходит от «общепринятой» для региона набеговой практики, где главной целью являются захват скота и людей. Войсковые репрессалии обретают новую ведущую цель — возмездие и нанесение максимального ущерба «немирным горцам». Хозяйственно-формационная черта набеговых практик получает иное политическое звучание и смысл. Такие «бессмысленные» — с точки зрения прежних формационных оснований⁶ — рейды русских определяют в свою очередь и формирование новой «политической» мотивации набеговых практик горцев. Набеги и горское сопротивление в целом начинают мыслиться в категориях «войны с неверными».

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НИШИ ИМПЕРСКОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ

Выраженная набеговая практика есть сумма нескольких факторов. Она характерна для (а) преимущественно скотоводческих обществ; (б) втягивающихся в фазу классообразования, «предсловного кризиса», где фамилно-родовые ядра соседских общин, сильные фамилии решают дилемму — господство или «представительство»; (в) испытывающих внутреннее демографическое давление, связанное с малоземельем увеличивающегося числа фамилий вольных общинников; (г) где уже развернута организационно-культурная традиция «мужских

6. Целью набега обычно не было уничтожение врага и разрушение его имущества. Объекту набеговой практики необходимо было сохранить сами возможности для хозяйственного воспроизводства и, таким образом, для возможностей повторения продуктивного набега в будущем.

союзов». Но само это наличие социальной базы набеговой практики и ее культурной санкции не выступают автономно. Характер и направленность общинной социальной динамики связаны с развитием того внешнего, напрягающего контекста, в котором находится община — своего рода «пятого элемента горских общин». Этот внешний контекст задает своего рода «рынок спроса» на определенные траектории общинных трансформаций, прочерчивает вектора трансляции социальных противоречий и обуславливает переход к новому качеству организованного насилия.

Пятым элементом является та среда, где набеговые практики могут быть востребованы в военном и формационном отношении (как форма воспроизводства-трансформации общины и способ преодоления внутриобщинных трещин). Чаще всего такой целью оказывается формационный соперник сильных фамилий — феодал, на «чьих» землях расселяется или может расселиться община или же государство, стоящее за спиной феодала.

Так, поддержка русскими властями феодальных кабардинских и кумыкских владетелей против чеченских общинников-переселенцев в XVIII веке привела к формированию пролога к длительному конфликту между имперскими структурами и этой частью горских обществ Северного Кавказа. Аналогичный кризисный процесс начинается в конце XVIII века по новой кубанской границе, где российские войска вовлечены в социальный конфликт между феодальными домами (главным образом бжедугскими), с одной стороны, и вольными обществами (преимущественно шапсугскими и абадзехскими) — с другой. И напротив, поддержка Россией горских общинных и феодализованных политий — уже против равнинных кабардинских феодалов (как это имело место в случаях кабардино-осетинских и кабардино-ингушских противоречий середины XVIII века) — способствовала значительно более эффективному имперскому присутствию в центральном секторе Кавказской пограничной линии.

Наивно полагать, что формирование комплекса внутренних противоречий в северокавказском поясе есть результат искусственного внешнего провоцирования. В регионе разворачиваются эндогенные конфликты, а вместе с ними определяются и функциональные ниши для имперского военно-политического вовлечения.

(1) *Функция внешней протекции и обеспечения безопасности/идентичности.* Это роль влиятельного союзника в разрушительном противостоянии с уже существующей имперской властью или противостоянии внешней имперской угрозе. Пример таких треугольников: <Кабарда — Крым — Москва>, <Шамхальство Тарковское — Иран — Россия>, <Картли-Кахетия — Иран — Россия>. И Кабарда, и Шамхальство ищут в XVI–XVIII в. русской поддержки в борьбе между собой и против своих имперских центров — Порты/Крыма и Ирана, соответственно. Меж-

имперское или периферийное положение многих кавказских политий привело к формированию здесь института и культуры «двойной лояльности». Этот запасной стул никогда не выбрасывался и всегда хранился в чуланах политической культуры многих кавказских элит.

Заинтересованность в XVII–XVIII вв. кавказских политий во внешней протекции, в балансиере между геополитическими центрами силы выражает стремление к поддержанию прагматической дистанции с имперскими властями Ирана или Порты, препятствующей полному поглощению ими периферийных элит/политий. Таким образом, функция внешней протекции опирается на способности обеспечивать или формировать более надежные политические ниши периферийных элит. Только в последующем, уже в эпоху национальных государств, такая прагматическая функция рефлексируется и развивается в способность государства поддерживать групповую культурную отличительность (*identity*). В современном мире функция «коллективной групповой безопасности» уже непосредственно связана с институтами производства идентичности/духовного производства, «этоса», «культуры».

(2) Функция укрепления локальных элит в отношении их внутренних оппонентов. Из этой функции вырастает способность государства к созданию *cohesive elite*, контролируемого превращения местных элит в группу, способную эффективно влиять на местное общество и быть проводником обратных влияний. Так возникает институционально поддержанная извне внутренняя легитимность местных элит.

Призывы к российскому престолу об установлении протекции были обусловлены не только внешними рисками тех или иных кавказских политий, но их внутренней нестабильностью. Яркий пример такой институциональной ниши — это соперничество «баксанской» и «кашкатауской» кабардинских княжеских «партий» в XVIII веке. Местная элита укрепляется и прямым снабжением ресурсами (вплоть до военной силы и новых видов оружия — «Государь, пришли ратных людей с вогненным боем»). Чем более выраженными и более внутренне нестабильными были кавказские элиты, тем выше институциональная потребность и устойчивее оказывалась затем российская администрация.

Косвенно эта функция показывает, что политики со слабо выраженной концентрацией власти, с не-пирамидальной, ячеистой, потестарной структурой властных институтов не особенно нуждались в каких-либо внешних институциональных «якорях». Россия им была структурно не нужна (если не было внешней угрозы, а ресурсный горизонт России был еще неясен). Напротив — она обещала проблемы, обещала неизбежное отчуждение властных функций — вместо их укрепления. Что касается пирамидальных/аристократических политий, то их извне-усиление было эффективно сопровождено сословной инкорпорацией и последующим упразднением самих владетельных прав (Идарова Кабарда, Картли-Кахетия, Мегрелия, Имеретия и т. д.).

При отсутствии подобной функциональной ниши империя создает, возвращает альтернативные элиты, формирует новые социальные группы, а вместе с тем и каналы мобильности, втягивающие политику в империю.

(3) *Функция преодоления внутренних социальных конфликтов, которые не могут быть устойчиво разрешены с помощью наличных политических и правовых институтов.* Скажем, существующие нормы обычного права не могут устойчиво регулировать внутренние конфликты в процессе колонизации горцами плоскостных земель. «Право первозахвата» фактически разрушает экономическую основу общины на плоскости.

Функция востребованной внешней политико-правовой надстройки может быть прослежена и в ситуациях, например, неадекватности норм обычного права при регулировании хронических конфликтов кровомщения. Хотя в «своде» этих норм присутствуют ритуалы примирения, но отсутствие обязывающей социальной поддержки этих ритуалов приводило к взаимному истреблению целых фамилий. Неадекватность норм обычного права новым реалиям открывает институциональную нишу для включения общества в поле властного применения других правовых норм (например, шариата в имамате Шамиля). Удар Шамиля по обычному праву был впоследствии противоречиво использован российской администрацией в судебно-правовой интеграции региона.

(4) *Функция ресурсного поля.* Внешняя власть нередко ассоциируется с контролем над каналами и формами доступа к жизненно важным ресурсам — от кабардинских равнинных пастбищ до выгодной торговли на русской линии. Прагматическая лояльность следует в направлении властных центров, контролируемых источниками такого ресурсообеспечения. Обрушение этих каналов или, еще больше, обретение гипотетической возможности самим поставить их под контроль с помощью альтернативных властных центров приводит к кризису прежнего направления лояльности. Скажем, ключ к российскому доминированию в центральном северокавказском секторе, примыкающем к доступным перевалам в Грузию, состоял в обеспечении политической крыши выхода осетин и ингушей на малокабардинские равнины. Позже в другом секторе можно было наблюдать, как государство Шамиля оказалось обречено, когда чеченские общества стали чувствовать экономические издержки от затянувшегося противостояния с Россией и воспринимать выгоды от замирения. Очерчивание иного, более широкого ресурсного поля постепенно меняет однозначность, а затем и направление их политических солидарностей. Грубо говоря, чеченцы устали от поддержки, и имамат рухнул.

(5) *Функция уммы/цивилизации — траектория «духовного пути», метафизического совершенствования и «конечной, фундаментальной со-*

лидарности». Эта функция постепенно заявляет о себе — сначала как вторичный эффект сословного прагматизма (и превращения Кайтуки Кончокина в Андрея Иванова), затем — как все более массовый тренд рутинного резонирования простых обывателей, которые оказываются в состоянии «пограничной повседневности», «фронтира» — не только в конкретно-историческом смысле, но и в своем повседневном рутинном мире.

Способность православной России быть одновременно частью уммы для «своих мусульман», быть «евразийским горизонтом» с «уникальным созвучием православия и ислама», ее способность быть «землей обетованной» (как это было для меннонитов при Екатерине II) — эта способность к многообразию и «сохранительству» изоморфна возникающей многосоставной, многоплеменной, многоязычной повседневности кавказского поля. Возникновение имперского поля оказывается функционально потребным в процессах выростания горских обществ из своих моноэтнических анклавов, возникновению городов, этих межэтнических перекрестков.



Функциональный профиль государства (профиль его укоренения на Кавказе) — от характера регионального самоуправления до состава местных элит и их габитуса — определялся не только русским завоеванием и имперскими стратегиями, но композицией эндогенных противоречий, структурой самого кавказского пояса и составляющих его обществ с их культурным репертуаром. При этом устойчивость и основательность государства как легитимного отчуждения права на войну и суд зависит от того, каким образом в своих идеологических и политических институтах государству удастся отвечать этим функциям. В частности, каким образом институты власти обслуживают эндогенные социальные процессы, куда и как направляется кардинальный внутренний конфликт самой горской общины/«цивилизации», как трансформируется, в частности, культура горского похода за состоятельностью.

Региональные режимы выступают одновременно как режимы интеграции местных обществ в российское государство/общество. Функцией режима является, в конце концов, производство лояльностей/солидарностей, — этих «полей», на которых и через которые возможно властное оперирование с общими проблемами и интересами. Производство лояльностей/солидарностей создает структурированную власть, то есть ресурсооснащенный и потому определенным образом «энергетически напряженный» контекст, в котором разворачиваются человеческие идентификационные стратегии. Среди них и этничность как способ оперирования культурными различиями и, таким образом, способ производства ключевых параметров культурного пространства — самого нагруженного смыслом человеческого мира.

Кризис таких режимов априори связан с обрушением или проблематизацией сложившихся связей между властно-предлагаемыми треками лояльности/солидарности и практиками производства этничности. «Вдруг» обнаруживается, что прежние конфигурации не работают, и доминирующие «картины мира» (скажем, с «нормализованной», «конвенциональной» общей историей, принятыми иерархиями горестей или славы) поиздержались в убедительности. Точнее говоря, возникают или расширенно воспроизводятся социальные группы, круги, носители неких «цивилизационных субкультур» и соответствующих паттернов действия, для которых эта убедительность сомнительна. Многоликость этих групповых носителей и их культурных шаблонов, неочевидная динамика их влияния и перерождения иногда вводит в заблуждение при анализе того, как же интегрирована кавказская периферия в российское ядро.

ВНУТРИИМПЕРСКАЯ ТРАЕКТОРИЯ И «ВТОРИЧНЫЕ РЕПЛИКИ» ГОРСКОЙ ОБЩИНЫ

Итак, в горских культурах исторически сложился институт [статусного] похода как средство вертикальной социальной мобильности. Эта культурная калька присутствует и сегодня. Но и внутри российской истории-пространства изменились сами границы «успеха» («состоятельности»). Потребовались новые категории престижных занятий, трекков состоятельности — иносказаний похода, его паллиативные формы. Вместе с институциональной историей горских элит (по образному ряду Дерлугьяна: «князья — партапаратчики — помидорщики») менялась и сама структура престижности.

Пресловутая «культура насилия» — есть на деле частный случай определенной культуры состоятельности. Насилие — форма социального и политического активизма в безгосударственных обществах или в обществах с обрушенной легитимностью институтов государства. В горских общинах постоянная готовность к войне/походу являлась статусным атрибутом. Отчуждая этот престижный статусный лифт в пользу государства, горские общества формируют новые «трекки состоятельности», выстроенные в контексте новых политических и социально-экономических реалий. Горские общества оказываются перед необходимостью трансформации своих культурных паттернов, обретая российское пространство как новый горизонт состоятельности или, напротив, несостоятельности.

Культурная калька «похода», конечно, сублимирована, трансформирована, но ее обертоны угадываются в современных ценностно-мотивационных комплексах и организационно-групповых ипостасях горских обществ. В определенном статусном смысле «походом» оказываются любые социальные стратегии, имеющие своим эффектом прорыв рутинных занятий и обретение социального капитала с помощью модель-

ных карьер. В свою очередь эти модельные карьеры — от активистов национального движения — до участников «деловых движений», гипотетически сцеплены с неожиданно открывающейся ресурсной базой — идеальной персональной и групповой состоятельностью, выраженной языком актуальной политической повестки или экономической конъюнктуры. Сегодня кавказский рыцарь-джигит находит себя в целом спектре новых модельных занятий, среди которых, в частности, и тип буржуа, для которого бедность стала пороком, признаком несостоятельности, достойной презрения соплеменников. Важный культурный аспект здесь — относительная демилитаризация треков состоятельности. Однако и в новой, экономической, реинкарнации «горского похода» отчасти сохраняются некоторые характерные реликты — клановые «ядра» многих предприятий, сохранение высокой готовности к насилию в репертуаре средств «конкурентной борьбы», ориентация на экономический мейнстрим и доминирование в зонах хозяйствования, определенные временные параметры. Если обратить внимание на массовый характер определенных социальных практик, насыщенных мотивацией модельных карьер, то становится очевидным — «поход» есть не только путешествие в пространстве, но и в занятии. Смутная престижность «ребят, которые в свое время были в лесу», еще долго будет волновать воображение не только подростков в чеченских селах.

Нас здесь интересует более широкий контекст: как работает культура похода в двух важнейших кавказских ипостасях в России — «титульных нациях» (национально-территориальных автономиях) и внутрироссийских «диаспорах». Мы исходим из того, что имперскую институциональную историю превращения *homelands* в республики (то есть от военно-народного управления⁷ до сегодняшних субъектов федерации) и возникновение массовой кавказской «диаспоры» можно описать как становление специфических площадок/групп интеграции-в-Россию. Сегодня на этих площадках размещены своего рода вторичные организационно-групповые реплики первичных горских социальных миров — будь то в армейских казармах или студенческих землячествах, в титульных элитах республик или группах старателей на магаданских приисках.

За формальными стратами, профессиональными занятиями и функциональными иерархиями проступает насыщенное первичными связями социальное пространство, ячеисто-сетевая структура семейно-родственных кланов и городских социальных кластеров. Вы «натыкаетесь» на присутствие этих сетей в разнообразной динамике формальных организаций, властных групп, персональных профессиональных карьер. Такая комбинированная структура обуславлива-

7. Еще до учреждения системы военно-народного управления в 1864–1866 годах, избранными имперской властью контрагентами/«категориями» управления на Северном Кавказе становятся «племена», «народности».

ет тенденцию, когда капитал фамильно-родственных групп напрямую зависит от состоятельности, складывающейся из персональных успехов их представителей. Семья выталкивает персону в «поход за состоятельностью», а история предоставляет лишь вариации того, каков может быть этот поход, определяет процессуальность и содержание «похода» и «возвращения».

Мы говорим о «походе» и «возвращении» в фигуральном смысле, но эти образы помогают прояснить ту культурную мотивационную основу, которая связывает прошлое и настоящее, симптоматическую преемственность горского активизма и современных походов за состоятельностью-успехом. Косвенным эффектом обозначенного поведенческого «программирования» кавказских культур является стремление к позиционному доминированию. Даже в диаспорах (как своих вторичных групповых репликах) кавказские общества стремятся уйти от рисков попадания в маргинальное пространство непрестижных экономических ниш/занятий, но нацелены на включение в хозяйственно-экономический (или криминальный) мейнстрим принимающего (обычно русского) общества.

Функцией вторичных реплик является превращение каналов индивидуальной вертикальной мобильности («персональных лифтов») или резервированных властью каналов групповой мобильности (коренизация, квоты и другие меры из арсенала affirmative actions) в площадки гарантированной преференциальной мобильности. В том числе — гарантированной от издержек в изменениях самой официальной политики (скажем, от метаний между преференциями для «нацменов» и их удержанием вне некоторых стратегических ниш). Фокус в том, что, будучи созданы как формы групповой интеграции и являясь таковыми, вторичные реплики превращаются в формы воспроизводства групповой вертикальной мобильности, использующей традиционалистские культурные паттерны. Начинается постепенный дрейф от критериев и ценностей, уместных для профессиональных или служилых субкультур принимающего общества, к критериям и ценностям, уместным для ячеисто-сетевых, первичных субкультур материнских общин/обществ исхода (в нашем случае — обществ «похода»). Внутри этих реплик — еще раз повторю, что таковыми являются и микрогруппы типа землячеств, и эшелонированные бюрократические элиты национальных автономий, — внутри этих реплик постепенно и неизбежно падает требовательность к одним критериям и нарастает спрос к другим. Вторичные реплики постепенно становятся переизданиями ячеисто-сетевого, традиционалистского общества, готовыми организационными формами для политизации и массивификации некоторых «практик описания реальности», готовности к определенным типам целеполагания и действия.

Среди практик описания реальности ведущая роль принадлежит этничности. Для понимания типов и роли этничности важно то, в каком институциональном контексте воспроизводится этот операцио-

нальный навык. Является ли она «этничностью аморфной диаспоры», «внешней категорией», «консолидированной и компактно проживающей городской общиной», «титульным народом».

АЛГОРИТМ КРИЗИСНОГО ПРИЧИНЕНИЯ

Сегодня кавказские общества, грубо говоря, это общества коллективного неуспеха, хронического и усиливающегося отставания, профанации массового образования и снижения компетенции во многих профессиональных секторах — от здравоохранения до государственного управления. И не российская «национальная политика» является причиной этого положения, и даже не длинная тень чеченского кризиса. Базовые вопросы — каким образом формулируются критерии состоятельности/лифты престижной мобильности в этих обществах? Как социально организованы, ресурсно обеспечены и политически сопровождены эти треки состоятельности?

Невнятица нынешней стабилизации связана с тем, что ее несущей процедурой выступает даже не силовая накачка региона и не выстраивание властной вертикали, а сама парадигма развития как «освоения выделенных средств» и «распоряжения предоставленными функциями/активами». Речь не идет о метаниях федерального законодательства и постоянном пересмотре правил, по которым осуществляется взаимодействие центра и регионов. За возможными масштабными вливаниями («больше средств — больше развития, меньше средств — меньше развития») и расцветом психологии «дойки России» (в некоторых регионах-реципиентах — чуть ли не «репараций») упускается качество развития. Укрепление властной вертикали и очередная зачистка площадки публичной политики от национал-сепаратизма оказались не сбалансированы становлением процедур и институтов гражданского общества. Качество политического развития, характер региональных политических режимов, асимметрично замыкающихся на властную вертикаль, создают в общем комфортный ландшафт для воспроизводства определенного типа культур. Имитационно высокий уровень лояльности⁸ — есть показатель расцвета и комфорта этих культур и соответствующих политических и социальных стратегий «на местах».

Высокие бюрократические издержки/коррупционные риски для предпринимательства и сложный инвестиционный климат — только одно из явных атрибутов такого развития. Если выйти за рамки «государственного дискурса», где развитие — будь то успех, стабилизация, кризис и т. д. — есть функции политики, следствия институционально веских политических решений, то всегда обнаруживается, что успех/неуспех есть функция культуры. Процедурные издержки висят тяжелым грузом не только на предпринимательских стартах, блокируемых

8. См. рекордные показатели явки в избирательных кампаниях 2007–2008 годов.

властной коррупцией. Можно сказать, что все социальные лифты, треки состоятельности организованы через сети первичных связей, «положены» в плотной паутине сложившихся неформальных обязательств и предпочтений. Эти сети и обслуживающие их процедуры предпочтений не властью создаются.

На Северном Кавказе все более явственно определяется новый уровень исторического конфликта между массовой «культурой активизма» (персональной состоятельности, хозяйственного или иначе обретенного и статусно-значимого успеха), с одной стороны, и родной ей — как «формационно», так и «цивилизационно» родной — общинной культурой, с ценностями внутригрупповых предпочтений и обязательств, с повсеместной практикой использования этих обязательств и созданием эдаких кластеров «близкого круга» в сколько-нибудь престижных социальных секторах. Это не совсем и даже вовсе не «кланы», так как организованы они далеко не всегда вокруг фамилно-родовых ядер. С кланами их роднит кулуарно-избирательный характер кооптации, непрозрачность оперирования, иерархичность, предпочтение «первичного статуса» (врожденного, примордиального — «свой») над «вторичным» (достигнутым, чаще всего сконструированным в процедурах профессиональной состоятельности). Отличие в том, что кластеры уже есть во многом продукты урбанизации, и в них инкорпорируются представители разных фамилных, территориальных, этнических групп. Если клан — продукт сельской общины, то кластер здесь — кумулятивный продукт фамилной общины, городского двора и городского школьного класса. Доминирование «первичных статусов» оказывается опосредованным, отчасти снятым, но ясно сохраняется.

Кавказское социальное пространство покрыто этими кластерами, расположенными в доходных властно-хозяйственных площадках — от местных администраций до вузов, от строительных компаний до поликлиник. Кланово-кластерный характер социальной реальности может быть очень комфортным, открытым и весьма сподручным для вертикальной социальной мобильности. Но эта мобильность должна быть оснащена и сопровождается ресурсами первичных связей. В этом случае кластер выступает как готовый трек состоятельности. И все бы ничего, но в своей совокупности такая система неизбежно работает на понижение критериев профессиональной состоятельности и в итоге оказывается основной причиной общей социальной стагнации. Профессиональные навыки выступают необязательным сопровождением критериев «примордиальной принадлежности». Первичные социальные сети «обволакивают» каналы вертикальной мобильности и работают не как опора социального роста, но как явственное социальное препятствие такого роста. Возникает эффект, скажем так, склеротизации каналов вертикальной мобильности, — эффект особенно болезненный на фоне все более популяризируемых шаблонов престижного потребления и в контексте «культур зримого успеха».

Настоящая паранойя кавказских культур — боязнь несостоятельности. Нельзя сидеть дома — идите, езжайте, ищите, думайте, двигайтесь. Результаты ваших «движений» должны быть видны. Но куда идти безработному на родине, где все возможные каналы престижных занятий присвоены фамильными кланами или кластерами «близкого круга», где нет механизмов неотягощенного первичными связями соперничества? Масса безработной молодежи, нередко уже с высшим образованием, расщепляется между несколькими неравновесными «карьерными» траекториями — отходничество (в широком смысле) в собственно Россию, устройство по связям на какую-нибудь местную «площадку», зависание в статусе безработного, перебивающегося на эпизодических заработках и «коммерческих движениях». Есть еще альтернативные треки состоятельности, связанные с распространением религиозных субкультур и отчасти политическими движениями. Идеологии внероссийского политического развития, с их репертуаром вспоминаемых исторических травм и претензий, сегодня воспроизводятся в суженном, маргинальном поле. Но их позиция — standby, ожидания ситуации, когда претензии могут быть предъявлены как «козыри» в торге за акты/распорядительные полномочия или как основания для новой антироссийской мобилизации.

Как организованы политические риски, связанные с нарастающей склеротизацией каналов вертикальной мобильности в северокавказских обществах? Конечно, создание рабочих мест, наращивание государственных программ по Северному Кавказу позволяет отчасти решать проблему относительной бедности, невнятности социальных перспектив значительных групп населения. Но в долгосрочном плане это увеличение пирога не меняет характера обществ, основу их политической культуры и соответствующие повадки элит. Увеличение пирога и государственные инвестиции в регион могут отчасти изменить формальную социальную структуру, статистическое соотношение формальных категорий занятого населения. Проблема в том, как влияют институциональные изменения — от новой процедуры формирования власти и административной реформы до процедуры ЕГЭ — на рутинное воспроизводство властно-хозяйственных площадок, на характер кластерного междусобойчика в обслуживании многообразных лифтов социальной мобильности. Много ли прибавит в профессиональной мотивации и конкурентной оснащенности выпускников школ та же процедура ЕГЭ, уже нагруженная «культурно-оправданными» издержками?

В том случае, если институциональные напряжения окажутся недостаточными для культурного сдвига — а профанация избирательных прав под прикрытием укрепления вертикали власти есть не что иное, как движение в противоположную сторону, — в этом случае генеральным виновником в постоянном дефиците доступных треков состоятельности будет всегда сама власть.

Кавказские общества с формами коррупции, рутинизированной до состояния культурной нормы, обнаруживают главную проблему не в собственной социальной практике. Эта практика кластерного обустройства, «нагруженного» преференциальными связями воспроизводства жизненных шансов, не узнается как качественный фактор отставания. Обнаруживается другой, количественный, фактор — сама бедность, скудность бюджетов, дефицит ресурсов. Источником бедности, естественно, выступает государство или организованная государством система межгрупповых (вариант — межэтнических) отношений.



Объявление борьбы с пресловутой «кавказской клановостью» и неким, якобы особым даже для общероссийских условий, уровнем коррупции — одно из информационных событий 2005 года. В июне 2005 года опубликованы части известного «доклада Козака Путину». Доклад анализирует причины неэффективности государственного управления на уровне республиканских властей, и он был воспринят как своего рода «черная метка» региональным правящим группам. Приведем одну цитату из доклада: «сформировавшиеся во властных структурах корпоративные сообщества монополизировали политические и экономические ресурсы. Во всех северокавказских республиках руководящие должности в органах власти, наиболее крупных хозяйствующих субъектах занимают лица, состоящие в родственных связях между собой. В результате оказалась разрушенной система сдержек и противовесов, что приводит к распространению коррупции».

Однако, как представляется, основным фактором высокой коррупционной опасности — как на уровне местных/муниципальных, так и республиканских властей — является все же не особая культура северокавказских обществ, не их насыщенность первичными родственными связями и не дотационность республик, но постепенная и неуклонная деградация каналов общественного влияния на различные властные этажи. Иными словами, создается режим все более ограниченного влияния на властные инстанции снизу, все большей закрытости, защищенности этих инстанций от организованного и пристрастного общественного интереса, действующего вне «первичных неформальных сетей», которые лишь связывают руки такому пристрастному интересу. Неспособность обществ эффективно и регулярно влиять на доступные им властные этажи обостряет спрос на «государево око», которое должно держать эти инстанции в узде. Но проблема в том, что создание режима «закрытости»/«сверху определенности» местных властей оставляет в целом более комфортные условия для воспроизводства в этой местной власти отношений именно кланового типа, — условия более комфортные, нежели режим реальной, хотя бы и эпизодической, зависимости от волеизъявления электората и столкновения местных и трансрегиональных властно-хозяйствующих группировок. При этом

смещаемость местных руководителей по решению федеральных властей окажется лишь сменой кланов/кластеров, но не борьбой с клановостью и коррупцией.

Тема клановости и коррупции в регионе — это вопрос о том, как возможна оппозиция на региональном уровне в обществах со значительной насыщенностью неформальными, первичными связями, которые в контексте служебных отношений выступают как «примордиальные» (вечно и неизменно обязательные для учета)? Как возможна реконструкция системы «сдержек и противовесов» — в смысле создания более выраженного и автономного от местных властей канала влияния общества на события в регионах. Будет ли федеральный центр и его региональные ипостаси единственным «противовесом клановости», или же он не будет признан в качестве такового и станет обвиняться северокавказскими обществами в качестве главного реципиента клановых услуг?